

Александр БАЛТИН

г. Москва



Пятая Времена

ДОМ ЗАСЕЛЯЕТСЯ...

Дом заселяется — медленно, с неукосни-
мой точностью и чёткостью.

Старик с первого этажа, постукивая старинной витой палкой с торжественным набалдашником, выводит на прогулку пса — тоже старика.

Они живут вдвоём, ибо жена старика умерла, а дочь... сгинула где-то в Европе, выйдя замуж; и пегий пёс со слезящимися глазами ждёт у булочной, пока хозяин купит хлеба...

Потом их видят во дворе — старик ни с кем не разговаривает, если только кивает; лицо его тяжело, будто каменная кладка, и если он садится на скамью, пёс, вздыхая, ложится у его ног.

Дети резвятся на площадке, и горка, закрученная улиткой, способна пропустить через себя множество кричащих, верещащих, ликующих малышей; и старик смотрит на них из тяжёлой и надоевшей раковины плоти — думая, вспоминая...

Мысли его тягучи, но вовсе не похожи на золотистый, свежий, тягучий, ароматный мёд...

Поэт глядит на него с шестого этажа, полагая, что...

Впрочем, что полагает поэт, расскажет его стих, зреющий тугой гроздью слов в дебрях сознания... Дебри эти едва ли надёжный виноградник! Размышляет поэт, глядя в зеркало на себя — сильно постаревшего, седобородого, с лицом, всё плотнее увязующим в сети морщин.

Ещё в зеркале отражается угол коридора: коленчатого, как переулок, с массивом книжных стеллажей, с их внутренним лабиринтом, которым так интересно было путешествовать в юности...

Масляно поблёскивает включённый торшер, и уд — струнный щипковый инструмент, некогда привезённый отцом из Египта, заткнут за пластмассовый колос, пластмассовый же подсолнух с которого давно отлетел и потерялся.

Поэт проводит пальцем по пыльной шее инструмента, и вензель, возникающий в се-

ром слое, нравится ему, как будущее стихотворенье.

Поэт считает себя и старика, с которым никогда не здороваются, двумя полюсами одиночества — которые и держат дом.

А он заселяется — медленно, постепенно...

Семья — косно-мещанская, крепко-зажиточная — плотно размещается на этаже... над поэтом. Их четверо: дочка и сын похожи на только что выпеченные булки, хотя булкам этим за двадцать и оба сильно отдают отцом: скучно-деловитым, вечно зарабатывающим... Мамаша целыми днями торчит во дворе, собирая слухи и сплетни в плетёный короб собственной пустоты, и это коллекционирование кажется ей приятным занятием, славным времяпрепровождением. Дочь ходит на работу в ателье, а сын... Это не интересно ни поэту, ни старику.

Дом держит в себе начинку, храня её от излишнего повреждения.

Один из детей властной пожилой дамы стал банкиром, редко бывает здесь, вероятно, содержит мать, живущую со вторым — так и не женившимся, ходящим на какую-то серую, скудную службу. Он пьёт — этот второй: одиноко, сосредоточенно, серьёзно.

Он пьёт так, что может упасть на первом этаже и заснуть.

Он будет спать час, потом пойдёт босой по лестнице, мигая и не узнавая никого, и мещанистая мамаша побежит к властной даме, интересуюсь, дошёл ли Юра.

Он всегда доходит — ибо дошёл уже до предела бессмыслицы.

Дом супит брови — осенними вечерами, зимними сумерками; дом громоздится летом на фоне неба, будто новая Троя, которой никогда не грозит война.

Нумизмат перебирает античные монеты, вздыхая по новой, столь необходимой ему, хотя, если и сможет приобрести, тут же поблекнет она, ныне одетая золотистым флёром мечты.

Парень — высокий и тощий — выпуская колечки дыма и стряхивая пепел, идёт за пивом, думая, кому позвонить, чтобы разделили компанию, если родители уехали на дачу, а он отговорился выдуманными делами.

Шарики грая слетают с разросшихся тополей, чьи ветви переплетены так густо, что взгляд пружинит как о бату: внимательный взгляд — поэта, рассеянный — старика, никакой — мамыши, цепкий — властной дамы, мутный — сынка-алкаша.

Кто снимает квартиру на третьем?

Они съедут вот-вот, не узнанные никем в доме, да и не интересные никому...

Тяжёлое «гав» стариковской собаки гулко падает в воздух, как кем-то выброшенный предмет — и прозаик, проходящий мимо, видит: дом мерно, неукоснимо заселяется людьми, взрослеет вместе с ними, принимает радостно новорожденных, каким предстоит свершить круг, чтобы лечь в лодку гроба, как легли уже многие, жившие в доме — которого никогда не было, ибо прозаик, путешествуя по листам снежной бумаги, не признавая поля монитора, измыслил самый обычный, такой сыто-крепкий, из многочисленных дом: измыслил и заселил, играя смыслами, отчасти угнетённый ими, отчасти счастливый — дугами пёстрого воображения.

НЕЖНЫЙ ЯНТАРЬ

В нежный янтарь детских воспоминаний одевался маленький скверик напротив подъезда, из которого выходил первые десять лет жизни: и мерцал оный янтарь зыбко, красиво, неотчётливо.

А скверика нет — вероятно, и не было: славный камень пошутит: есть только детская площадка — пёстрая, как все подобные ныне, красивая, с горкой, различными качелями, разноцветной каруселью (а тогда дощатая была и сквозь щели досок мелькала серая земля)...

Дом огромен: всего пять этажей, но строили сто с гаком лет назад, прочность закладываемую вековую; и, торцевой частью выходя на улицу, тянется он в глубину двора, длится долго... По этой асфальтовой речке нёсся на первом своём велосипеде, как на быстрой лодке; нёсся, впервые усевшись на него, захваченный скоростью, и, не зная, как тормо-

зять, вылетел на проезжую часть, рухнул, испугавшись, всей силой маленького тела, и — скрежетали тормоза, кто-то ругался, болел разбитый локоть...

Огромные окна дома, высокие; тут были коммуналки — с трёхметровыми потолками, стреляющими толстыми половицами, общим телефоном в коридоре на тумбочке, и аппарат был склеен липкой лентой.

Зевластая пасть колонки играла синим огнём, точно показывала зубы; а обширное нутро кухни было разделено тумбочками на сегменты.

Отец возвращается с работы, выбегаешь встречать...

Вешалка возле двери, отец снимает куртку, вешает её, улыбается тебе, шестилетнему...

...морг, из которого хоронили папу, находится поблизости, можно пойти пешком, но не хочется, ибо воспоминания тяжелее свинца; а на детской площадке нет никого поутру, и садишься на скамейку, куришь, стряхивая пепел в урну, из которой торчит скомканная газета с перемятыми событиями летнего дня.

Жили на первом этаже.

Окна ныне забраны витыми решётками — а как было у вас? Не вспомнить, вся жизнь прошла.

Ходили на третий этаж в гости к часовщику дядя Косте; заглядывал ты в дверь, спрашивая:

— Мозя?

— А, давай, давай! — восклицал он.

Они пили с мамой чай, а ты выдвигал ящики, заполненные блестящими механизмами, перебирал их, иногда небожно накалывая палец, вертел в руках шестерёнки, сжимал пружинки.

Ещё заходили в гости к старой болгарке, дочке опального поэта; и ширма в её комнате была раскрыта павлиньим хвостом.

Сидишь, куришь.

Дома громоздятся, и дворы скручены причудливыми гирляндами тропок.

Дверь открывается — и вы выходите с отцом: он ведёт тебя за руку, что-то рассказывая — о далёких странах? О книгах? Музыке?

Вы идёте — медленно, ибо воскресный день

— вдоль дома, глядящего на вас суммой окон, — идёте в парк, где есть пруд, и можно покормить уток, а можно — взять лодки напрокат.

И ты, сидящий на скамейке, забывший про сигарету — смотришь вслед двоим, медленно растворяющимся в перспективе.

КИНО СВОЕЙ ЖИЗНИ

Вгромоздком павильоне на ВДНХ — обветшавшем, но сохранившим имперское величие — в заднем его отсеке, тоже, впрочем, громоздком, снимают куски фильма.

Беспорядочное, несколько хаотичное движение выливается в небольшой клочок фрагмента, и человек, несущий чёрный шнур за камерой, улыбается, глупо и торжественно, точно доверили ему дорогую церковную утварь: ещё бы! чуть дёрнется, и картинка смазана.

Актрисы жестикулируют, проходя мимо случайно оказавшегося в массовке нищего поэта: выпал шанс подработать.

Он просто сидит на стуле, тягуче думая, что мог бы тоже сыграть крохотную роль, да удача нигде не подкараулила его.

Режиссёр кричит, кто-то вздрагивает, и щеки толстяка-оператора трясутся, как желе.

Воздух за стенами, за куполом павильона густ — хоть употребляй его с чаем: день плавила жара, и вечер не принесёт облегчения.

Праздная плазма гуляющих пестра, как фильм, как детские мечты; гроздя воздушных шариков качаются в воздухе, и продавец, когда подойдёт черёд расставаться с очередным, выдирает его из суммы собратьев, отдавая чуть ли не с сожалением.

Фонтаны блещут водяной работой: великолепные водомёты помпезной империи, ступки радости — зыбкой, что круги, расходящиеся от падения струй.

Молодёжь влезает в воду, ходит в прогретой, тёплой; ребягня, смеясь, собирает блестящие, а иной раз заржавелые монетки...

Суммы дворов, скрученные летними гирляндами, пойдут за выставкой; суммы домов, каждый из которых превосходит объёмом

средневековую крепость, восстанут на фоне вечеряющего неба, храня содержимое своё с трепетом силы; домов и дворов, равнодушных к снимаемым фильмам или заключаемым сделкам...

Сверкающее нутро банка: животные внутренности этого городского слона, где, в мясистых креслах восседая, тузы потягивают коньяк и говорят о суммах, чьи нули отдают космосом.

Жизнь дворов естественнее нулей, и бурное кипение детских площадок выбрасывает в воздух флажки и вымпелы криков.

А вот случайное чужое объятие в окне: подсмотри, поэт, пойдёт ли для излияния лирика?

Отец, качающий сынка на качелях, замечает под ними сгорбленные лодочки листвы — смуглые, бронзоватые; и грустно становится ему, и мысли про осень тянутся, как косяки улетающих птиц.

...или в другом окне: важный кот восседает на подоконнике как на троне: не кот, а кошачий царь, ленивый властитель, и кактус, около него, будто съёживается, уменьшаясь в размерах...

Люди, снимавшие фильм, суетятся теперь, собираясь; дым делает воздух спёртым: курили много; пустые стаканчики из-под выпитого кофе мнутся под ногами, а режиссёр недоумен, устал.

...двор ко двору, кадр к другому: каждый снимает кино своей жизни — как умеет, не спеша, поторапливаясь, заключая сделки, спиваясь, прогорая стихом, мечтая отлиться в песне; каждый громоздит его — фильм жизни своей, или тащит в отчаянье, сбиваясь, валясь от усталости, как бурлак, — только баржи не видно.

Каждый прошёл детской площадкой, разбивал колени, хныкал, вырывал ручонку из руки отца, казавшегося таким сильным.

Закат меж домами виден литым золотом: там Вавилон небесный, раскинувший веера своего богатства...

В золото вливаются красные жилы, густая руда крови; потом появляются оттенки кармина, киновари; средневековые дукаты сыплются, меняя время, укорачивая его...

Бархатный провал ночи — с роскошью его, со звёздными шатрами и полями — ждёт все наши фильмы, и не отказаться от него, нет-нет — как и от них, кем-то продуманных до последнего кадра, до окончательной, красочной йоты.

ФИЛЬМ ЛИВНЯ

Вертикальные стрелы жары смирят серо-оливковая тень: туши туч ползут медленно, туго задевая вершины многоэтажек, никак не способных повредить им.

— Уходить пора, — говорит тоненькая мать кудлатого малыша, который носится с девочкой чуть постарше.

— Или прятаться, — улыбается в ответ седобородый пожилой отец девочки.

Дети на площадке глядят вверх — медленное движение фиолетово-лиловых громад завораживает почище всякой игры.

Темнеет среди дня — будто властный вечер, опережая события, задёргивает шторы.

— Ливень нужен, — одышливо говорит толстяк на скамейке возле подъезда. — А то от этой жары...

— Вздохнём свободней, — отвечает молодежавый сосед лет пятидесяти, допивая пиво и ставя бутылку около ножки.

Им незачем уходить.

— Да, незачем, — речёт толстяк. — Отсюда можно посмотреть фильм.

Фильм будет снят великолепно, и то, что режиссёр неизвестен, не отменяет его грозной, роскошной красоты.

Вода низвергается стеной: будто высокие дома распороли наконец драгоценные мешки туч; вода закипает в мощных природных котлах, рвёт клоки пространства, закручивает их жгутами.

Фонтан в обширном дворе растворяется в синевато-стальной бездне, и маленькая эстрада занята выступленьем водяных артистов.

Всё блестит, растекается, хлещет; всё плавно, закруглено — стихия не знает углов.

Мощные кроны тополей сливаются в гигантскую массу: будто сверхповар готовит зелёные щи.

Ветки сбивает водой, и низвергаются они, вереща как живые.

— Ну и фильм! — восхищается толстяк.

Навес над подъездом велик, и, хотя ступеньки заштрихованы, а через пять минут и вовсе покрашены чёрным, перед скамейкой сохраняется часть серого асфальта.

— Не засекает, — зевает сосед.

Мальчишка глядит из окна — ему хочется выпрыгнуть и поплыть, он мечтает о плаванье-полёте, но, будучи семилетним уже, знает, что нельзя, что мечта редко обретает плоть яви.

Некто, приоткрыв дверь лоджии, курит, пуская седые кольца, смотрит на литуую мощь влаги, вспоминая юношеское увлечение кино, представляя, как выглядело бы водное представление в эстетской картине с замечательной, вынимающей фрагменты яви с мускульным натяжением жизни операторской работой.

Эфиопская жара позабыта, смена декораций, продиктованная природной мудростью, оправдана и сильна.

Горы туч — единственная форма гор, знающая визуальное движение; они плывут, мерно покачиваясь, они несут водное известие дальше.

Ливень переходит в дождь, но некто, продолжающий курить у приоткрытой лоджии, успевает подумать, что соседний дом похож на новый Ноев ковчег, в котором воистину всякой твари по паре: стариков, бывших сидельцев, скучных тёток, мечтательных мамаш, упоительных деток, неудачников, пьющих мудрецов, бездельников, жирно живущих за родительский счёт.

Дождь сочится, точно плачет о прошлом могуществе: о! византийская мощь ливня! о! имперская роскошь его оснастки! Тут порфирия — зал с пятибашенным грозным шкафом, где хранятся облачения басилевса, иные из которых убраны камнями так густо, что не гнутся даже; дождь плачет над своей судьбой, оплакивает себя.

Он исчезает, растворяется в воздухе.

Сеть сверкающих камней висит в воздухе, и бесщётно алмазов переливается на листве.

Богатство, за которое не надо платить — угрызениями совести, раскаянием, муками одинокого сердца.

Дети выбегают — и счастье прыгать по лужам сверкает чисто, как воздух, вымытый июльской грозью...

ОГОЛЁННОЕ ПРОСТРАНСТВО

Магниевые вспышки в темноте наполнили небо трепыханием: кто-то с небес фотографировал остатки суток: был одиннадцатый час.

Воздух стал реющим, тонко-прозрачным, и рухнуло сразу, мощно, будто океан опрокинули...

Муж вскочил, бросился на лоджию — закрывать хлобыстающее окно.

Малыш спал.

— Тряпки, тряпки возьми, — скороговоркой роняла жена. — Заливает.

Гроыхало яро, сочно, смачно; скрип и грохот доносились из тёмной дыры двора; тополя стонали под бросками новых и новых порывов, как обречённые под пыткой.

Но стихало — вот уже дождик, потом барабанная дробь капель, и — бархат июльской ночи бесшумен, красив.

Утром вид из кухни был ужасен: два старых, могучих тополя были вывернуты с корнями, бессильно и жалко поднятыми в воздух, и живые ещё ветви мочили пышную листву в лужах.

Красавцы тополя лежали на крышах машин: одна была смята, как игрушка, две другие пострадали меньше.

Тополя! Старые, родные! В ярусах грандиозной листвы, амфитеатрами поднимавшейся к небу... Точно оголённый, бесстыдный клок пространства паялся в кухни, гостиные, спальни...

Хозяева машин высыпали часов в восемь.

— Что же, а? вот чёртова стихия, а? — сокрушался дородный старик в мятых джинсах и белой рубашке...

— Ладно, Анатолич, у меня вообще — кранты. Хорошо, застраховать успел. Только купил ведь...

— Моя-то погибла! — заверещал старик...

Народ высыпал.

Патлатый длинный парень, у которого машины вообще не было, суетился между соседями, раздавал указания, говорил без конца.

— Как сдвигать-то? МЧС, что ли, вызывать?

— Пилы тащите, — руководил парень.

Знали — живёт один, средства есть, правда непонятно откуда, и любит советовать, руководить. Недавно затеяли ставить вторую железную дверь — так первым вызвался и деньги собирать, и...

— Пилы? Правда, что ль...

— Ну да. Распиливать надо частями.

Старик пропал.

Потом вынырнул из подъезда с початой чекушкой, сел на скамью, выпил прямо из горлышка.

— Хочет кто? нет?

— Да погоди, Анатолич, успеем, так скать, помянуть. Пока разгребать надо.

Пилы появились.

Парень, вооружившись одной, всем давал указания, махал инструментом, но сам ничего не пилил.

Муж, — тот, что вскакивал ночью закрывать хлобыстающее окно, — писал эсэмэски жене: «Виталик всё суетится, руководит пилкой».

Они одноклассники были, знали обстоятельства жизни друг друга, общались иногда.

«Он любит руководить, — отвечала жена. — Как малышок?»

И муж отвечал, сколько гуляли, что ел.

Во дворе кипело, бурлило, варилась каша общего дела, сдобренная сумятицей и горечью утрат.

Анатолич не принимал участия, сидел на скамейке, пил, медленными глотками орошая рану потери.

Пилили усердно, раздвигали огромные сучья, разгребали листву; дворники появились: убирали спортплощадку, тоже заваленную листьями, что-то двигали, переносили.

Виталик, всё ещё жестикулируя пилой, болтал с одним из пострадавших автовладельцев.

Тот вечно жаловался на бедность, дураков-начальников, безденежье, надоевшую тяготину... Виталик и сам маялся скукой; зара-

ботанные некогда деньги позволяли не суетиться в настоящем, а блеснувшие некогда музыкальные способности не сумел развить, и возможность провести несколько часов во дворе, среди людей гасила одиночество, осушила водные массивы скуки.

Пилили...

Таджик-дворники в оранжевых куртках оттащивали чурки, в которые превращались красавцы тополя.

Новые соседи подходили, курили, сетовали.

Толстяк уселся на скамью возле площадки, попробовал было сунуться с советами, но ничего не вышло.

Рослый парень, дымящий трубкой, — его машина, ночевавшая на другой стороне дома, не пострадала — говорил, как стоит снимать стволы с крыш.

А день разгорался, стирая память о ночном шквале, но не отменяя происшедшего; солнце наливалось соком, исходило знойной силой; лужи стягивались, исчезали на глазах...

Часа в два народ разошёлся — есть хотелось; потом опять появились...

И оголённое пространство на месте замечательных тополей гляделось странно, — непривычно, чужеродным куском.

ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ

Выходил из библиотеки, где была пыль, Впачкала руки, но манускрипты светили янтарно; выходил, неся под мышкою пухлый том, в котором суммировал всю современную ему теологию, подвёл ей итог, включив в оный свод всё, что может представлять интерес для скорбного ума, тшашегося познать Господа...

Улица была узкой, дверь библиотеки массивной, и, выйдя, спустившись по ступеням на эту узкую улицу, вздрогнул: мимо промчалось нечто... напоминающее античного кентавра.

Да, но только это, очевидно, был человек — молодой человек на чём-то ревушем, быстром...

Город изменился — изменился страшно: это больше не был привычный, тихий, склоняю-

щий к размышлениям и молитве город, с домами под черепицей, с возившимися у дверей детьми: это был...

Гигантские дома, играя синеватым стеклом, росли до небес, узкая улица переходила в другую — широкую, где не было крупного камня, но серела река неизвестного твёрдого материала, и по этой реке мчались, обгоняя друг друга, железные повозки, мчались, ревя и шумя, а люди были одеты... — что за странная одежда?

Он, всё ещё несущий под мышкой том, оглядел свою рясу, серыми складками ниспадавшую на неизвестный ему асфальт, поднял голову и увидел, что группа молодых, пускавших дым изо рта парней тычет в него пальцами...

Он поспешил — но куда?

На улице стояли столики — под белым навесом; несколько людей сидели за ними, один листал газету.

Он тоже присел — отдышаться, ибо от волнения и неизвестности он запыхался, как будто бежал.

Девушка подошла к нему, глянула вопросительно, спросила:

— Кофе?

— Что? — не понял он.

— Вам кофе? Или закажете что-то другое?

— Нет, я...

Он встал, быстро пошёл наугад...

Он оказался на площади — вроде бы знакомой и вместе совершенно иной.

Он уже догадывался, что произошло невозможное, что...

Петля времени мелькнула перед глазами, отливая стальной синевой, играя малиновыми брызгами, — и тогда он пошёл в библиотеку.

Он миновал парк, где на скамейке — на пустующей скамейке — оставил свою книгу, он пошёл дальше, зная откуда-то, что там должна быть библиотека — и правда: огни сияли мягко, расплывались, ибо начинало вечереть.

Он зашёл.

Он не знал, какой язык использовать, и обрattился на латыни, но молодой работник глянул на него удивлённо, и тогда он сказал просто и вопросительно:

— Фома Аквинский?

— Ах, вам том Аквината?

Он покивал.

И получил толстый собственный том, и стал листать его, сев за столик, стал листать под лампой, понимая через пятое на десятое, ибо язык был знаком смутно, точно пятна смысла проступали сквозь настоящее, которое стало будущим, из какого неизвестно, как и куда бежать; он листал и листал свой том, смутно надеясь, что шуршание страниц унесёт его обратно, вернёт в ту, привычную библиотеку, — в ту реальность, из которой он вышел час назад, суммировав всю современную ему теологию.

— Нам нужен типаж, — досадовал, нервничал и сердился режиссёр. — Типаж! Понимаете? Ищите в библиотеках... не знаю, где ещё... В книгохранилищах. Не в монастырях же! Как иначе мы снимем этот кусок — про Аквинского, вышедшего из библиотеки и оказавшегося в нашем времени?

Они искали.

Искали на площадях и улицах, в магазинах и кафе.

Но всё было не то — и режиссёр нервничал, бормотал нечто злобное, чертыхался...

...когда ворвавшийся на студию помощник заорал:

— Видел! Сидит, читает! Точно — то, что нам надо...

И — помчались в библиотеку; пузатый маленький режиссёр втискивался в машину, летели, боясь не застать, ибо вечерело, а библиотеки, как известно, не работают ночью.

Но — застали.

Вот он сидит — с бледным, отчасти испуганным лицом, вот он листает толстую книгу.

— Ха, да он и листает том Аквинского!

И — окружили, и затянул режиссёр лилейно:

— Дорогой, уважаемый, не желаете ли сняться в кино? У нас интересный сценарий, представьте себе — Фома Аквинский, суммировав сумму средневековых знаний, вышел из библиотеки и оказался в нашем времени. И вот он идёт по улицам...

Аквинский глядел на человечка, не очень понимая, о чём он, глядел, сомневаясь, что происходящее позволит ему когда-нибудь вернуться...

Он только понял, что следует улыбнуться — хотя он не любил улыбаться, — а затем встать и идти за этими людьми.

И — пошёл.

Он говорил на странной языковой смеси, и они понимали его с трудом, но понимали всё же.

Он делал вид, что ничего не произошло, он черкнул нечто на листе с массой строчек — никогда не видал таких листов, но он не видел многого из того, что окружало.

А уже на ступенях суетились люди: устанавливали экран, лампы; шнуры, чернея, тянулись, и зеваки собирались, как бывает всегда, когда снимают кино.

И Аквинский вышел из дверей, держа под мышкою том — просто толстый том, вовсе не свой; он вышел из тяжёлых, массивных дверей старой библиотеки, вовсе не той, где он листал собственный труд, он спустился по ступеням, и мотоциклист пролетел мимо...

— Снято! — раздалось.

— А где он? Где? Сбежал?

Он не сбежал.

Он провёл рукой по лицу, как человек только что проснувшийся.

Он подумал о странных снах, что могут прийти от усталости.

Он знал, что закончил свой труд, возвёл свой собор, который, хоть и не имеет архитектурной оснастки, простоит века, и со спокойным сердцем вышел на улицу, понимая, что ничего неожиданного не ждёт, ибо Господь всегда держит мир в равновесии — вышел, погрузился в свой город, растворился в нём — таком надёжном, современном, средневековом...

□

Александр Львович БАЛТИН

родился в Москве в 1967 году.

Поэт, прозаик, публицист.

Автор 84 книг и свыше 2000 публикаций в изданиях России,

Украины, Белоруссии, Казахстана, Молдовы, Италии,

Польши, Болгарии, Словакии, Чехии, Германии,

Израиля, Эстонии, Ирана, Канады, США и др.

Его стихи звучат на радиостанциях «Центр», «Говорит Москва»

в исполнении автора и народного артиста СССР Е. Я. Весника.

Переведены на итальянский и польский языки.

В 2013 году вышла книга «Вокруг Александра Балтина»,

посвящённая творчеству писателя.

Член Союза писателей Москвы.

В журнале «Север» публикуется впервые.

